

Боже мой, как его, русского поэта, истребляли!.. Арестовывали. Допрашивали. Били. Судили. В камере гноили. На колымских льдах кайловым трудом изматывали. А он превозмог их, палачей. Превозмог убийц народа русского...

Заметил я в маленькой челябинской газетке “Голос” нехорошие слова о Борисе Александровиче Ручьеве - расстроился. Я никогда не пишу плохое о земляках. Если даже земляк и скверный - не пишу: без меня напишут... А тут - о Ручьеве. И кто пишет? Пишет В. Окунев, однолесток мой и товарищ по литературному объединению “Комсомолец”.

Ручьева зачислить в партocrats? Бориса Ручьева, каторжанина, занести в ряд холуев? Ну, говори обо мне, например, своем ровеснике, а дубасить Львова, Татьяничеву, дубасить их, исколотых ежовскими “рукавицами” и бериевской “бдительностью”, не смелость.

Должна присутствовать в нашем слове высокая ответственность, а главное - высокое страдание, твоя испытанная истина. Много ли у нас крупных поэтов после репрессий осталось? Твардовский, Ручьев, Федоров и...? Напрасно Окунев обрушивается на прошлое. Сам он в прошлом, в поколении поэтов-шестидесятников, звезд с неба не хватал, но с работой ему, ему ли не везло?

Устраивался, бунтарь, возле сельских молочниц и городских буфетчиц. И - лицо, оливково-сливковое, умиротворялось победою над худым бытом... А теперь - ярый перестройщик, прораб и критикан, лишь Иосифа Бродского считает настоящим русским национальным поэтом. Дело, конечно, хозяйское: кто кому нравится - тот для того и опора...

А в середине пятидесятих годов - в городской библиотеке Борис Ручьев. Чуть с хрипотцой. Чуть с нажимом на последнее слово строки - читает. Клетчатая рубашка. Небогатый темный костюм. И весь он, поэт, обычный, но “процеживающий” собеседника... И в его-то лице - тяжелое горе. Каменное. Морщины, морщины, а в глазах - такая печаль, как долгий вздох молящейся матери. Зачем ему Рим, а Бродскому Челябинск?..

И - палка, батожок. Сунул поэта в “аварию”, как он утверждал, лично Берия. Нога перестала гнуться, но, слава Богу, жив:

И ни разу в пожарах и вьюгах
заслужить ты упрека не мог,
будто ты побежал от испуга,
будто в торе друзьям не помог.

Пусть говорят про нас недоброжелатели и враги: “Русские по языку и по этническому руслу весьма неоднородны!”... Пусть говорят они: “Россию надо разделить на “региональные” республики!”... Говорят, говорят, но грянет час - примолкнут... Физическое и духовное единство русского народа - его великая равнинная территория, его великая, бессмертная речь. Посмотрите на нашу русскую поэзию - ну разве не едина она?

Юный уралец, Борис Ручьев, арестованный по ядовитому доносу и отправленный на долгие годы на Колыму, о чем скорбит?

Не может быть,

чтоб силою от гула

родных гудков, их вечного “Пора!”
по-матерински нас не притянула
к груди своей Магнитная тора.

Критик Селивановский и поэтесса Инбер возмущались: дескать, Павел Васильев и Борис Корнилов расстреляны, а этот негодяй гуляет на свободе!.. А “негодяй” на самом деле - третий среди них, по возрасту и по таланту, весь - в полете, весь - радостный и возбужденный надеждами и зовами судьбы.

Высокий голос дарования - высокое страдание слова. Русские поэты действительно родинюлюбы! И как бы ни слюнявили, как бы ни мордовали родинюлюба вчерашние и сегодняшние агрессивные “торгаши-путешественники”, Родина у русского поэта - только впереди, только - свет ее очей!..

А где же поэты берут чувства к Родине? Берут в народе, в родной земле, в могилках иobelisksах, берут. Берут - в сказке, берут - в песне, берут - на Куликовом поле и Мамаевом кургане... Так един или не един русский народ характером и статью? Един. Разрешат в год раз “русскую плясовую” телерадиона начальники в мир кинуть с экрана Останкино - в Челябинске седой ветеран плачет, костыли подгребая, а во Владивостоке - форсистый морячок ладонями по брюкам клеш ударяет...

О, что творилось бы, если бы нас не замыкали, русских, не закупоривали, не огораживали “интернациональной зоной”, которая не лучше колымской - страдание и гибель: высокое страдание народа, его совести, его культуры. Словно кто-то жутко перепуган: развернется русский человек в пляске - ограды уронит и разметет...

В слове - Русь. История наша - в слове. Доверчивость и гостеприимство, покладистость и верность в нем - в страдании высокого смысла и достоинства. Истинные русские поэты

- библейские святые, они проносят молитвы и заповеди, не подлежащие ржавению.

Потому и поднятая на дыбы непримиримость в русском человеке, обманутом и оскорбленном, неостановима:

Покуда жив, смертельно ненавистен
до сей поры живучему врагу,
терпеть я не могу ходячих истин,
но позабыть до смерти не смогу:
как бально нам,
почти что не под силу,
в последний раз врага не поборов,
войти с ним рядом, молча, как в могилу,
в казенный дом бандитов и воров;
как страшно нам -
под мертвым камнем камер
однажды пережить такую ночь,
когда любимый город огоньками
из-за окна не сможет нам помочь...

И угрозы-то в словах нет. И клятвенности на покарание врагов нет в приведенных мною строчках. Но есть - огромное горе сердца, высокий пламень гнева, а он - испепелит зло, откуда бы оно ни ползло.

Мои деды и прадеды, деды и прадеды Бориса Александровича Ручьева могли знать друг друга: катались и шлифовались в уральско-сибирском котле - от Оренбурга до Кургана. Борис Ручьев - из семьи священника, позже - заслуженный учитель РСФСР, отец поэта.

Борис Ручьев получил твердое среднее образование, но в Литературном институте долго не задержался: нашли и отослали к ледяным сопкам золота и алмазов. Десять лет, лучших полетных лет, пришлось поэту долбить северный камень, терять друзей, хороня их, обессилевших и обмороженных, в снежной заполярной бездне.

Обвинение ему вынесено шаблонное: "националист", "сеет рознь в народах", "пытается свергнуть законную власть", "не брезгует антисемитизмом". Согласно "заговору", возглавленному Борисом Ручьевым, сам он должен стать Председателем Совета Министров, а его "однокашник" Михаил Люгарин, имеющий один класс образования, - министром культуры СССР...

Осудили не их двоих, а много литераторов, и все они "признались и раскаялись" перед справедливостью закона... Дольше всех сопротивлялся "бандит" Ручьев,

пропагандирующий подпольно стихи Есенина, кулацкого сочувственника и упадочника, мужиковствующего агента разложения.

После десяти лет полярного сияния Бориса Ручьева отправили с Колымы в ссылку - еще на десять лет в Казахстан. Родился поэт в 1913 году, а в 1937 году приговорен к каторге. По-настоящему стряхнул с себя оцепенение и колымскую лютость лишь в 1956 году. Вот так!

На Урале в каждом городе можно услышать легенду о Борисе Ручьеве. Будто заявился ночью Борис Ручьев к Серафиме, красавице жене, а утром уходить отказался. А путь с Колымы на Урал закрыт. Тайно явился, значит. А Серафима обнимает мужа, поэта знаменитого, да и потихонечку робеет: найдут врага народа - ее на Колыму пошлют, как дальше ей, бедной, держаться?

Просит Серафима Бориса успокоиться и уйти, просит и в ноги к нему бросается - жалко ведь, умный, честный и симпатичный, да и не жадный: что имеет - друзьям, что на душе - ей, ничего не скрывает. Мучилась, мучилась, не утерпела. Сообщила властям, а он к тому дню уже - мощи, есть и пить отказался, протестует...

Постучали в двери. Уложили на одеяло. Легонький, подхватили и унесли. Еще десять лет не виделись Борис и Серафима. Спасибо, в Казахстане разрешили ему бухгалтером работать - не застрелили. Из них - тоже попадают незлобивые люди, а прикончили бы - и крышка.

Вроде бы и дочка от Серафимы и Бориса где-то затерялась в уральско-сибирских просторах. Сначала - врага народа чуралась, а потом - совесть "открыться" ей не позволила... Легенда.

А не легенда - привез Борис Ручьев Любу в Магнитку, Любовь Николаевну - ну, с Алешкой, ее сыночком, нашел их в ссылке, и воспитали они Алешу, и в Магнитогорске новую жизнь, выздоравливая, на прочный фундамент поставили. Там ныне музей Бориса Ручьева - бывшая квартира их...

Любовь Николаевна - неторопкая, рассудительная, разве можно не уважать ее? Но и Серафиму я видел. Очень тогда молодой, я не понимал, почему Серафима говорит и говорит мне о Борисе Александровиче. Приехал я, выступил у нее перед учениками, а она увела меня к себе, говорит и слезы вытирает, говорит и слезы вытирает... Уже пожилая, но стройная и еще красивая, красивая. Поэт взял для стихотворения другое имя, но не о ней ли, не о том ли?

Всю ту зимушку седую,
как я жил, не знаю сам,
и горя и бедую
по особенным глазам.

Как два раза на неделе
по снегам хотел пойти,
как суровые метели
заметали все пути.
Как пришел я в полночь мая,
соблюдая тишину,
задыхаясь, замирая,
к соловьевскому окну -
про любовь свою сказать,
Александру в жены звать.
Александра Соловьева,
ты забыла ли давно,
двадцать пять минут второго,
неизвестный стук в окно?

Николай Воронов, Владилен Машковцев, Лидия Гальцева, Владимир Суслов обстоятельнее меня обрисуют долю Ручьева. Они больше меня провели рядом с ним и часов и дней. Я скоро уехал в Москву учиться. А там - в Саратов. А там - опять Москва. Но Борис Александрович находил меня и в Москве, даже побывал и в общежитии Литературного института... А после моего тяжелого к нему письма из Саратова - приезжал с Любовью Николаевной и в Саратов, где мы, сотрудники журнала "Волга", устроили ему чудесную встречу с молодыми писателями.

Я очень люблю Ручьева. Раньше я находил в его стихах и поэмах себя, заводской быт и нравы, энергию и устремленность давал мне его талант, его путь. Любя творчество Павла Васильева и Бориса Корнилова, я с благоговением глядел на Ручьева, младшего брата их. Я знал: Ручьев - свой среди них, третий "преступник". Как не любить его?..

В то же время - Ручьев из моего железа и огня вырос. Впереди меня он. Я очень люблю Есенина. А разве Есенина от Пушкина оторвешь? Не оторвешь и Ручьева от Есенина. Вокруг Пушкина - народ. И вокруг Есенина - народ. А вокруг Ручьева - мы. Не надо стесняться: любовь к русским поэтам - любовь к русскому народу. Осознанная или нет, но - любовь к своему народу.

И ничего странного: у трепетного лирика Есенина, пронизывающего чувством, как светом, природу, "городской" поэт Ручьев не заимствует, а навсегда берет национальную допод-линность сыновнего отношения к отцовско-материнскому краю, к Родине. Есенин - из борозды и трав, Ручьев - из борозды и трав, но путь его - путь народа, а путь народа сместился в сторону индустрии. Не понимать такое - скудоумничать...

Русская поэзия, купаясь в железном огне, не забывала о васильках и лилиях, не ожесточала родное слово, а облагораживала его через ромашку и розового символического коня - Пегаса...

Недаром Павел Васильев, Борис Корнилов, Дмитрий Кедрин, Петр Комаров, позднее - Василий Федоров, Егор Исаев, да и Федор Сухов, Виктор Кочетков в той или иной мере повторили ручьевское “ощущение” скоростей настигающего нас поезда и самолета.

Они отметили собственным чувством и словом свое время. Вчера наши идиотствующие в “демократию” перестройщики-прорабы готовы были вытоптать копытами то время, а сегодня догадались: время не вытопчешь, а тебя, коли ты не прикипел к нему, время ответит и в неть уберет.

Есенин:

Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Далеко сияют розовые степи,
Широко синее тихая река.
Я - беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни - сердцем подпевать,
Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.

Ручьев:

Прощевай, родная зелень подорожья,
зори, приходящие по ковшам озер,
золотые полосы с незрелой рожью,
друговой гармонике песенный узор.

И не в размеренно-интонационном ритме, смыкающем эти строки, тайна и суть, а в однородном взгляде на вечное гнездо пращуров - луг, поле, край, как на единую мать, как на единую Россию: только лишь ей и можно до конца исповедаться, только. Да, лишь она и ободрит, выправит, утвердит твое прошлое и твое будущее...

Борис Александрович Ручьев много повидал и пережил, много знал из того, что нам сегодня доступно. Он сидел на пересылке в одной камере с “убийцей” Сергея Мироновича Кирова. Ручьев еще тридцать лет назад рассказал мне - в гибели Кирова замешана женщина... Очень подробно Борис Александрович рассказывал о последних

минутах жизни Осипа Мандельштама, уважая его и ценя.

Но в 1983 году я, бороздя Колыму на машинах и самолетах, ища “ручьевские” бараки вместе с писателями Иваном Акуловым и Владимиром Фомичевым, “проговорился” одному северному литератору о кончине Мандельштама, и меня буквально с ума свели звонками, письмами, предложениями, обещаниями и срочными заказами. С тех пор - молчу...

На Колыме до Бориса Ручьева доползли слухи: в бараке соседнем умер поэт Борис Корнилов. Было раннее зимнее утро. Мороз перестал замечаться людьми - растворился в сером гранитном воздухе Колымы. И сгорбленные по-старушечьи сопки, надышавшись сизо-свинцового мороза, грозно столпились у ворот лагеря.

Ручьев спрыгнул с нар, накинул ватник и выбежал. Лезвиями стальными скрипел снег. Взрыдывали полозья. На дровяных санях - навзничь опрокинутый труп. А на нем - сидит зэк и со свистом стегает тюремную клячу. Увозят мертвого. Ручьев пустился за санями, но рывок - и сани уже за воротами зоны. А на Ручьева охранник повернул штык...

- А Бориса увезли? - допытываюсь.

- Говорят, Валентин, его...

- А не уточнили?..

- Те уточнят, уточнят, личные метрики перепутаешь с ихними!..

Борис Александрович отрицал свое авторство песни “Тякеть, тьякеть по Марксу горячая слеза”... Отрицал свое авторство и песни “Я помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы”...

Дни на Колыме случаются серебристые-серебристые. Но их свинцовая тяжесть слышна. И когда глядишь в окно самолета с высоты - сопки, сопки, белые, белые: то ли это - старухи, русские осиротелые бабушки в платках белых бредут по льдистой пустыне, то ли это - могилки, могилки, белой вьюгой замеченные, плывут и движутся в русскую вечность.

“Валентин, не ругай Сталина. Не лезь в газетную политическую грязь. Сталин зачем нас, - Ручьев ударял кулаком в грудь, - таких крепких собрал, зачем? Ринулась бы Япония сюда, к нам, вот мы бы ей тут и поддали. Сталин вооружил бы нас - мы и поддали бы. Мы же, политзэки, не предатели, а патриоты, понял? Сталин - не дурак. Сажал не кого попало, а нас, понял?”

Чуть воспаленный, наивный и мудрый, один глаз голубой-голубой, а другой синий-синий, поэт Ручьев преображался: “Лаврентий Берия не доконал нас, мы, Валь, ох и мужики!..”

Мать и отец постарели. Брат погиб на войне. Кто у него еще, кроме любимой Симы? Да,

любить ее, живя дома, - одно, а, кайля колымские мерзлоты, - иное. Что, кроме Симы, есть у него? Ладный дом порушила кровавая свора, ненавидящая русский народ. Порушила, как порушила дом Сергея Есенина и дом Павла Васильева, русские гнезда...

Борис пишет милой Симе, Серафиме, загнанный доносами и прокурорскими решениями под колымский полярный ветер. Этот острожный ветер не дает подняться на ноги целому народу и целым народам. Ручьев потерял, отобрали у него отца и мать, избу колыбельную, брата фашистская пуля успокоила: Но - мало, но - еще продолжают истязания над поэтом!

И свою, созданную любовью и молодостью, семью теряет Борис Ручьев - отбирают у него преступники, завладевшие "законными правами", христопродавцы, пожирающие русское достоинство и русскую свободу. И легко ли противостоять Серафиме, нежной Симе, противостоять казни тельному расистскому ритуалу? Колыма одолеет и верность, и нежность, и проклятие Симы.

Борис Ручьев пишет ей из лагеря осторожно, не обидеть бы, прощает заранее ее возможные смятения и проступки... Разве холуй, человек, тронутый слабостями непорядочности, напишет подобное? Нравственность и терпение, вековая наша мудрость питает слово и раздумия поэта.

КАМЕНСКИХ С. И.

21/IV-45r.

Родная моя Сима!

Наконец-то письмо твое добрело и до меня. И как ни радостно мне после стольких лет неизвестности узнать, что ты жива и здорова, все же горько сознавать неясность кое-каких обстоятельств. Почему ты уже не Ручьева? Почему ты однажды оборвала переписку не только со мной и даже с моими стариками, которые полюбили тебя, как родную дочь? Почему ты в письме так сдержанна и неуверенна?

Извини, что я спрашиваю об этом. Как бы я ни любил тебя и где бы ни был, я не позволю себе насильно навязывать свою судьбу и претензии на законное и обязательное супружеское внимание. И если что-нибудь связывает тебя, или если время и жизнь настолько отдалили тебя, что трудно быть душевно близкой и родной, - скажи об этом прямо.

Может быть, я напрасно слишком придирчив. Допускаю и это. Но пусть лучше я один буду повинен в этом старческом грехе, чем оба мы в том, что допустили ложь в отношениях друг к другу, ибо она окончательно и наверняка разъединит нас, а это было

бы все-таки больно.

Окончила ли ты институт? Где работаешь сейчас? Где твои братья и родные?

О моей жизни тебе уже, по-видимому, известно все из маминых писем. К тому, что знает она, добавить ничего не могу. Перед тобою, как говорится, чист, потому что любил и уважал все эти годы только одну тебя, верил тебе, помнил о тебе даже в такие минуты, когда трудно о чем-нибудь помнить. И хотя случилось так, что твоих фотографий давно не осталось у меня, я все-таки хранил тебя в памяти такой, какая ты есть, в чем убедила карточка, полученная мной сегодня. Живу я почти там же, где жил. Физически возмужал и окреп, хотя и перенес кое-какие болезни, даже сепсис. Вот, кажется, и все, что я могу сказать про себя. Тобой самой, очевидно, не раз пережито это - переживаемое мною сегодня чувство незначительности всего, что относится лично к своей жизни, и, напротив, глубокого интереса ко всему, что касается тебя. Но что поделаешь, если сам я этого интереса утолить не могу, а ты необычайно скупа.

По-прежнему все мои стремления сводятся к тому, чтобы как можно скорее приблизить возможность нашей встречи с тобой в самом близком будущем. Кстати, мысль о нем не вызывает у меня ни смущения, ни растерянности. На Севере получил я закалку, опыт, знания и чувство силы в работе - были бы подходящие условия, а главное - свободное время.

Вот, пожалуй, пока и все. За карточку спасибо, страшно хотелось бы отблагодарить тем же, но пока не могу, нет возможности.

Очень прошу тебя не забывать моих стариков. Они очень много пережили за последние годы. На фронте погиб мой брат Всеволод, и я остался у них единственным сыном.

Тебя они очень любят, считают частью меня, и твои письма также радовали бы их одинокую старость.

Кланяюсь Любви Кирилловне, Николаю, Виктору и всем родным.

Твой Борис.

Пиши мне по адресу: пос. Хандыга Якутской АССР АДЭУ.

Сердце не обманешь. Честный узник острее и больнее слышит измену или равнодушие, покаяние или забвение... И опять - осторожность и глубина чувства, опять - закаленное гордыми трагическим одиночеством достоинство.

КАМЕНСКИХ С. И.

30/X11 - 46 г.

Здравствуй, Сима!

Почему от тебя целый год нет никаких вестей? Жива ли ты в конце-то концов? Или опять “новые семейные обстоятельства” окончательно отдалили тебя? Если так, очень прошу сообщить мне, по возможности, откровенней. Дело в том, что новый, 47-й год будет последним годом моего пребывания на Колыме, и мне приходится совершенно реально подумать о возвращении на материк. Таким образом, мне очень важно знать, осталось ли между нами хоть что-нибудь прежнее и стоит ли стараться возвращаться именно к тебе, добиваться встречи с тобой. Я не сомневался бы в этом, не будь этого последнего годичного перерыва переписки. А собственный опыт вынуждает предполагать, что проходит этот перерыв не просто из-за почтовой неаккуратности, а из каких-то более глубоких причин, по всей вероятности, зависящих от тебя.

Что касается меня, то я не переставал более или менее регулярно посылать тебе письма, чаще же всего телеграммы, и по ним ты можешь судить, что в моих отношениях к тебе ничего не менялось.

Очень прошу, сообщи о себе правдиво все, что интересует меня.

Поздравляю с Новым годом. О себе рассказывать нет никакого настроения, так как не уверен в надобности этого.

Твой Борис.

Хабаровский край, г. Магадан, пос. Адыгалах. Почт. ящик 26153. Б. Ручьеву.

И письма Бориса Ручьева Якову Вохменцеву, другу и поэту, полны той же душевной простоты и верности. Ни суеты, ни навязчивого стенания, но - с мужской нерядовой сдержанностью.

Пишет - освобожденный. Пишет - ссыльный. Поборовший казнь поэт...

ВОХМЕНЦЕВУ Я. Т.

24 мая 1956 г.

Здравствуй, дорогой Яша!

Не знаю, дойдет мое письмо до тебя, пишу наугад, без указания точного адреса. На днях читал рецензию в “Новом мире” на твою новую книжку стихов, изданную Челябингизом. Ну, думаю, жив Яков и жив в Челябине, а не где-нибудь. Недавно где-то слышал, что Василий Николаевич умер. Правда это или нет? Если правда, то жаль по-настоящему хорошего человека, вечная ему память.

Как живешь ты, Яша? Как твои дела литературные, семейные? Пожалуйста, напиши обо всем. Что нового в Челябинске, Магнитогорске, вообще в нашей области. Как живут и работают Марк Гроссман, Л.Татьяничева и все наши знакомые, которых я уже начинаю забывать.

Я, как можешь заключить, жив и здоров. Правда, не так чтоб очень здоров, но надеюсь только на лучшее, думаю, что лет 10- 15 сумею протянуть при условии даже хорошей творческой работы. А сейчас я очень надеюсь на возвращение к своей любимой работе, т. е. на реабилитацию в правах. Еще год тому назад я подавал правительству жалобу по поводу своего “дела” 1937 г. и вот теперь получил извещение от главной военной прокуратуры СССР, что переследствие закончено и дело направлено для рассмотрения в Верховный Суд СССР. Конечно, Яша, ты сам понимаешь, что никакого иного решения, кроме решения справедливого и законного, я ждать не могу. И это окрыляет меня, дает мне силы жить и работать и вновь искать пути возвратиться к вам, дорогим товарищам по поэзии, по Уралу. И хочется мне остаток жизни моей прожить на Урале, более всего в Магнитке, написать много нового, завершить все, что не закончено. А ведь у меня несметное богатство собрано за 19 лет. Только все это надо воплотить в слово. И тут я претендую на вашу помощь, на помощь всех своих товарищей. Буду писать об этом и в Союз писателей СССР.

Яша, так прошу тебя, дорогой, пиши мне по адресу: с. Мирзааки, Ошской обл., Кир. ССР, МТС - мне. Там я работаю сейчас старшим бухгалтером. Но обо всем, как живу, потом.

Пока все. Крепко жму руку.

Борис.

Привет твоей семье и всем знакомым. Да, Яша, чуть не забыл. Очень прошу тебя, вышли мне твою “Степную песню”. Если можно, то еще что есть в Челябинске нового из стихов.

Б. Р.

И через мечты вдохновенной молодости, колымский хрип ветра, через посвист дозорных пуль, через голод и холод, через ссыльную тоску он пишет Алексею Суркову, руководителю СП СССР, соблюдая собственный темп деликатности, не утратя последней скалистой высоты, не стуча по колымскому граниту поломанными крыльями, а скорбно кружа над белыми сопками, этими белыми пирамидками, возведенными “великой эпохой” над миллионами безвинных...

Во всем он - сильный и предельно честный, во всем. Сильнее Дзержинского и

Менжинского, Ягоды и Ежова, и следователь Арензон не сумел изловить его под пистолетную “мушку”.

А пытался, допрашивая:

“Есенин охаивал Советскую власть, а ты Есенина зубришь?..”

“Не зубрю, а принимаю, как молитву!..”

“Молитва в семье-то тебе не надоела?..”

“Русская семья стоит и держится на молитве!..”

Арензон попыхивал пламенем, подсказывал, приглашал душегубов, и они волокли шовиниста в подвал увечить, фашиста и антисемита черносотенного...

Арензон растворился на красном ветру Октября, а внук Арензона, интернационалист, по радиостанции Израиля неприязнь картавую источает к нам, русским, кочующий трибун и торгаш. Внук Арензона, в Магнитогорске, родясь, по Тель-Авиву издергался. А Борис Ручьев, заброшенный на Колыму, станицу Еткульскую и во сне почитает. До чего же они и мы разные!..

ПИСЬМО А. А. СУРКОВУ

Здравствуй, Алексей Александрович!

Долгие годы я сдерживал большое желание написать Вам, сдерживал потому, что не мог рассказать ни о чем, кроме личных жизненных обид. Казалось, - письмо человека, - “бывшего под судом”, может оскорбить Вас, и правда, мной рассказанная, не вызовет Вашего доверия, т.к. Вы почти не знали меня ранее, а ворох всяческой лжи обо мне, набравшийся к исходу 1937 года, очевидно, разом перевесил все мое невеликое поэтическое добро. Кстати сказать, - в то время я был настолько молод и незаметен, как литератор, что (несмотря на всю болтовню о “ранней профессионализации”) считал себя более комсомольским журналистом, работником партийно-комсомольского актива своей области, судьбу большей части которого и разделил в событиях 1937 года.

На днях военная Комиссия Верховного Суда СССР известила меня, что дело, касающееся меня, пересмотрено, прекращено и я реабилитирован.

И вот теперь-то, Алексей Александрович, я не могу сдержать своего давнего желания и прошу извинить за время, которое решил отнять у Вас.

Хотелось бы очень о многом говорить с Вами, дать отчет за все девятнадцать лет насильственной отчужденности от Союза писателей, внести ясность и правду во все, что еще может отделять меня от Вас, руководителя ССП, и меня, - редактора новой книги стихов, книги, безусловно, слабой, скорострельной, но дорогой для меня своим юношеским чувством дела чести, доблести и героизма.

И, уж если говорить прямо (поскольку я остался жив), - этот первый в жизни, мой творческий багаж, мало кому понадобившийся в жизни, меня-то самого действительно спас от возможных в моей судьбе, - смертельных душевных потерь и морального бездорожья.

В юности я не успел стать членом Коммунистической партии, но никогда, а особенно после ареста и суда, наперекор всему, не мирился с сознанием своей анкетной беспартийности, считая поэзию неизменным до конца жизни делом своим, а Союз советских писателей, членом которого я был, - совестью своей жизни.

Вы сможете понять, Алексей Александрович, как это было здорово трудно мне, в сущности, очень "зеленому" человеку, в "тех" условиях, в "той" среде, день за днем, год за годом думать, верить и жить, во всем стараясь не падать ниже себя самого и, хотя бы в собственных глазах, быть достойным своих учителей и старших товарищей.

За все эти тяжелые годы я знал множество человеческих судеб, видел жизнь во всех ее переплетах и, насколько это было возможно в положении осужденного государственного преступника, не переставал учиться и жить своими любимыми думами, поисками и трудами, всегда чувствуя себя готовым к творческой работе.

И вот на сорок четвертом году жизни, наконец-то получив полную гражданскую свободу, испытал муки творческого голода и отнюдь не чувствуя себя нищим, я дожил до того состояния, когда некуда деваться, не писать - нельзя. Ну а писать - нельзя, нет возможности даже завершить незаконченные, требующие отделки рукописи, еще и не знавшие товарищеского суда.

Дело в том, что за последние годы, выйдя из лагеря с 39-й статьей в паспорте, я не имел права проживать ни в одном крупном городе и выбирать любую работу по душе. И вот, четыре года, живя в предгорьях Памира, работаю бухгалтером МТС, ради заработка, отдавая все свое время и силы этой все усложняющейся по своей трудности профессии. И не так уж крепко теперь мое здоровье, чтобы после 10-12 часов ежедневного труда с видимой пользой я мог заниматься любимым творческим делом... Мириться с такими потерями больше не вмоготу.

Я не знаю, какое будущее готовит мне реабилитация, и уверен только в одном, - если не смогу отвоевать от каждого рабочего дня хотя бы несколько,- по-настоящему творческих часов, - не будет мне в жизни ни покоя, ни радостей, ни свободы.

Вы не можете не понимать моего состояния, Алексей Александрович, а если можете и верите, то помогите мне вырваться за эту последнюю грань расколдованного круга к

своему любимому труду, к старым товарищам по поэзии.

Только, пожалуйста, не посчитайте меня выжившим в заключении из ума литературным маньяком и не примите за какого-нибудь воскресшего из тюремной параши одичавшего летописца времен культа личности, ежовых рукавиц и лагерных тайн системы НКВД.

Простите за несуразное длинное письмо, за кажущиеся громкими слова и фразы (редактировать некогда), за отнятое у Вас время.

Не откажите порадовать ответом.

Борис Ручьев.

Конец 1956 г.

Наверное, у меня слабые нервы: я не могу спокойно читать заявление и биографию Бориса Ручьева. Трагическое ликование. Взлет израненного орла над бездонной кровавой Колымою. Надежда на грядущий успех, намек на завтрашнюю славу. И обещание - быть солидным, быть точным, быть верным, как вчера, как сегодня. Колыма, Колыма, ты - вечные сумерки России!.. Ну кто осмелится в чем-то упрекнуть Ручьева, кто?

Правлению Союза Советских

писателей СССР

б. члена ССП

Ручьева (Кривошекова)

Бориса Александровича

Заявление

Я был членом Уральского отделения ССП с 1934 г., т.е. со времени ликвидации РАПП и организации Союза. В 1937 году, 24 лет от роду, будучи работником комсомольской газеты, я был арестован органами НКВД в Челябинске по клеветническому обвинению в к/р (контрреволюц. - Л. Гальцева) преступлении.

Только в конце 1956 года ВК ВС отменил судебное решение по моему делу и

реабилитировал меня.

Почти 20 лет я был насильственно отстранен от любимого дела жизни - литературного труда. Несмотря на это, все годы отчуждения я работал над собой, изучал поэзию, читал все, что можно было достать нужного для... литературу, писал стихи, обдумывал будущие работы, старался держать себя в творческой готовности. Иначе я не смог бы дожить до радости реабилитации. Прошу Правление ССП СССР восстановить меня в своих рядах и помочь мне наверстать своим трудом упущенное не по моей вине.

Отставать не буду. Звание члена Союза буду нести с честью, выполнять обязанности и все требования народа и партии, вполне мною понятые.

В юности, будучи молодым поэтом, многое было написано мною слабо, не таю. Через 20 тяжелых лет я чувствую себя богаче знанием жизни, людей, и мне кажется, умением выразить свои замыслы. Теперь мое единственное желание - создать произведения, достойные образцов советской литературы.

Стремиться к исполнению этого желания всю свою жизнь я обещаю Правлению ССП.

Мне 44 года, а в этом возрасте, как все... знаете, советские люди всегда бывают хозяевами своей жизни и слов.

Прошу не отказать в моей просьбе и считать меня в строевом составе Уральской организации Союза, - куда я возвращаюсь, считая своей обязанностью помогать товарищам расти...

Борис Ручьев.

А я тянусь и тянусь к стихам его, возвращаюсь и возвращаюсь:

Как горько нам -
под стражею в этапах
по родине пройти в июльский день,
почувствовать лугов медовый запах,
увидеть крыши отчих деревень.

Не мимо ли станицы Еткульской их вели, законвоированных и пронумерованных?

Новые русские оккупировали нас. Кто Они?.. И те, засланные к нам в заплombированных вагонах, -новаторы: столько лагерей отгрохали! Геноцид.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Ручьев (Кривошеков) Борис Александрович, родился в 1913 году в ст. Еткульской Челябинской области в семье учителя А. И. Кривошекова, в 1956 году - заслуженный учитель Киргизской ССР, г. Фрунзе.

В 1929 году окончил среднюю школу в Кургане. С осени 1930 года работал на Магнитострое, вначале несколько месяцев бетонщиком, а с 1931 года сотрудником комсомольской газеты и литературного журнала "Буксир", впоследствии "За Магнитострой литературы". С того же года до осени 1937 года был членом ВЛКСМ. Стихи писать начал с детства, а печататься с 1927 года (первоначально было написано - 1928 и исправлено) в газете "Красный Курган", а позднее во всех уральских и некоторых центральных газетах и журналах.

В 1934 году в издательстве "Советская литература" и Уралгизе вышла книга стихов "Вторая родина". В апреле 1932 года участвовал на последнем поэтическом семинаре РАПП. В 1934 году был делегатом 1 Всесоюзного съезда ССП. После первой книги стихов написал поэму "Песня о страданиях подруги" и много стихов, вплоть до осени 1937 года печатавшихся на Урале. В 1936 году поступил на заочное отделение Литературного института, но тогда мне закончить его не удалось, т. к. в декабре 1937 г. был арестован органами НКВД. Там же, на Урале, в июне 1938 г. был судим в/с ВК ВС СССР по клеветническому обвинению в к/р преступлении.

Находясь в лагере, не переставал писать стихи, насколько это позволяли условия тех мест и того времени. После возвращения из заключения по ст. 39 был лишен права жить в каком-либо крупном городе и работы по специальности, потому пришлось работать товароведом техснабжения... и последние 5 лет бухгалтером МТС.

Вся трудовая деятельность последних лет - большая трудоемкая работа ради существования семьи, уносила все мои силы и стала в конце концов для меня больше... (нетерпима), потому что не давала мне возможности отдавать литературному делу хотя бы часть рабочего времени. И все-таки я всегда старался повышать свои теоретические знания, обдумывать и оформлять вчерне замыслы своих будущих произведений и не отставать от своих товарищей по поэзии, от творческих задач современности.

Борис Ручьев.

И письмо Михаилу Люгарину, "соучастнику по перевороту", несостоявшемуся погоревшему "министру" культуры СССР, опять же - подробная доброта, подробная забота. Есенинцы. Сколько же выдалось им перенести унижений, напраслины,

одинокости и мрака? Поэты России - самые несчастные дети ее!..

И вы, прорабствующие демократы, не торопитесь нас обзывать сталинистами, не требуйте от президента Ельцина “раздавить гадину”, не шакальте. Ваши деды и отцы успели “раздавить гадину”, но и сами подпали под золотую колымскую глыбу: кровь течет из-под камня и снега, и из-под вас, их кривоzubых внуков...

Не каркайте нам смерть! Не повторяйте расстрельных азартов. Борис Ручьев песней останется в русском народе, а вы?..

Русские, мы неистребимы. Недаром страдание Христа никому не отдал русский народ. Даже на развалинах соборов, подорванных аммональными бомбами инквизиторов, русские в своих грехах и покаяниях найдут поднебесную защиту. Первым словом человека в грозном звездном океане прозвучало русское слово.

ЛЮГАРИНУ М. М.

24/VII - 57 г.

Здравствуй, дорогой Михаил!

Давно собираюсь написать тебе, но страшно некогда. Большое письмо хочется написать - на него “не хватает рабочей си”ы”, а маленькое неинтересно и писать. Ну, да уж какое получится, прости.

Жизнь моя до конца 1956 года тебе известна, так как я писал тебе подробно. После этого в ней изменилось вот что.

В декабре 56 г. я получил извещение о полной реабилитации. Военная комиссия Верхсуда СССР отменила приговор по моему делу и дело само прикрыла. В феврале 1957 года Москва восстановила меня в членах ССП с 1934 г. После этого я уволился со своей бухгалтерской работы и ударился на Урал. Полтора месяца жил в Челябинске, все решали, куда меня определить. И вот сейчас обосновался в Магнитогорске - нашем дорогом городе. Руководжу городским литературным объединением. Много хлопот и ответственности на этом деле. И об этом лучше расскажу лично при встрече. Ведь ты теперь близко, и придет время - мы обязательно встретимся.

Знакомых наших здесь много. В Челябинске живут М. Гроссмал, Л. Татьяничева, В. Сержантов, В. Вохминцев. В Магнитке Нина и много других. В. Губарев и В. Макаров умерли в лагерях. Клаша Макарова живет здесь и всегда шлет тебе привет.

Сейчас начинаю обосновываться. Семья моя уже около месяца здесь. Сейчас получил

квартиру из двух комнат в городе на правом берегу. Пока стоит без мебели, пустая. Нет денег на обстановку. Ну, как-нибудь постепенно оборудую.

Очень хочется повидаться с тобой. Как это сделать и когда, пока еще не знаю. Прошу тебя, сообщи, как у тебя дела с реабилитацией. Писал ли ты куда об этом? Есть ли результаты? Если не писал, то пиши срочно и добивайся восстановления в правах. Я говорю об этом потому, что это очень важно, когда приходится говорить о работе для тебя. В "Магнитогорском рабочем" штаб полон, причем работают там все люди с высшим образованием. Так что приходится рассчитывать на многотиражку. Пиши о своих семейных делах - сколько у тебя душ, где работаешь, пишешь ли стихи?

На этом пока кончаю. Прости, что пишу карандашом. Устает рука.

Привет твоей жене и потомкам.

Крепко тебя целую. Твой Борис.

Пиши по адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, редакция газеты "Магнитогорский рабочий", Б. А. Ручьеву.

Только отчаявшись вытравить из себя тюремную боль, безвинный узник упрекнет Ручьева холопством, покорностью. Не холопство это, не покорность это, а - высокое страдание слова, свет русского сердца... Надежда народная на Россию, чистота беспримерная и неувядаемая вера в свою правоту:

А идет навстречу страже,
как хозяин в стане вражьем,
дымом-пламенем таимый,
тьмой ночей, туманом рек,
по земле своей родимой
невидимый человек.
Через Днепр идет - не тонет,
через Харьков - не горит,
обожжется - не застонет,
кто такой - не говорит.

Великая была война. На суше и на море места человеку не оставляли. Вот и шел он - невидимка, жесткий и упрямый, дерзкий и честный, шел себя сберечь в расстрельной

пурге своих и чужих палачей. Шел человек по колымским рекам и оврагам, добывал золото и алмазы, падал, прикрывая нас от холода, нас, детей солдат, полой обшарпанной в карьере фуфайки, недоедал, суя нам кусочек осторожного хлеба...

Иногда я читаю про тоску о героизме в наших журналах и газетах. Лежат на роскошной столичной тахте “он” и “она” и, заглатывая свежие бутерброды с икрой, тоскуют о героизме. Ручьев о героизме не тосковал. Он представлял храбрейшее поколение в мартене Магнитогорска и в шахте Колымы. Но стихи Бориса Ручьева на бутербродной тахте плохо усваиваются.

К рядовой судьбе не придет нерядовая слава. К невысокому слову не придет высокое страдание. Ну скажите мне, какая тропа сегодня не упирается в русскую боль?..

Ни памятью, ни жаждой, ни мечтою
не зная ни к чему людской любви,
они плевали на мое святое,
на все, чем жизнь текла в моей крови.

Чем ему себя спасти от заполярной вьюги? Врачеванием: “Я честный, я с тобой, милая Россия-моя, пойманная в колючую проволоку, истоптанная и растерзанная на угрюмых ледяных широтах сапогами охранных роботов!..”

Ручьев не был сталинистом. И гневные упреки зэка Варлаама Шаламова зэку Борису Ручьеву - крик несчастного перед невинным. Ручьев пел свое время и гордо служил ему. Зэки - равны. Шаламов - подеспотичнее, посуровее. И когда румяный жлоб дает им оценку, кого “возносит”, кого “уничтожает”, оторвавшись от бидона с парным молоком или от горячей сарделины, мы обязаны вспомнить лежащих на тахте - тоскующих о героизме...

Спасибо тебе, Борис Ручьев, поэт русский, брат мой старший! Россия не погибнет и край наш не затеряется среди других. Не затеряется- как ты среди тех, кому кровавые карлики пытались загородить путь ложью и страхом. Слово - не умирает. Страдание - не испепеляется.

А в мире вольном голод плечи сушит,
костер войны пылает до небес,
на землю птицы падают от стужи
и злых людей непроходимый лес.

.....
И я не знаю, где сложу я руки,
увиджу ли когда глаза твои...

Благослови

на радости и муки,

на черный труд и смертные бои.

Василий Пономаренко рассказал однажды мне в Ярославле, как Борис Ручьев с палкой, хромя, бросился на язвящего по адресу патриотов - Евгения Гангнуса... Это - не хулиганство, не зависть к Евтушенко, не месть неудачника. Это - последнее трагическое право несгибаемого зэка, раненного Иудой поэта русского...

Каждый из нас волен ценить или не ценить стихи того или иного поэта. Но есть такие судьбы у поэтов, не уважать которые - грех. А судьба и есть - поэт.

Серьезность таланта и серьезность судьбы пересекаются... В детстве я выбегал послушать осенних журавлей, пролетающих над Ивашлою, моим горным хутором. Первый клин - шел низко. И струнные голоса птиц, казалось, падали рядом. Второй клин - шел выше. И журавлиные голоса тянулись и проливались на ближние холмы и перелески. А третий клин - шел по центру неба...

Ни свиста и ни шелеста крыл. Точки, точки, теплые и живые. Но голоса просторно звенят и горько, горько опускаются не за холмами и перелесками, а вдали - на золотые полосы жнивья, и долго катятся через душу, пропадая у туманного горизонта.

И поэты - поколениями идут, клиньями, клиньями и рассекают время. От Бориса Ручьева - к Виктору Коротяеву, от Владимира Луговского - к Николаю Благову... Мы - неделимы. Мы - внутри своего умного народа, как журавли - внутри своего родимого поднебесья. За нами - Россия.

Мы тебя в походных снах ласкаем,
на вершинах скальных высекаем
все твои простые имена,
и в огне горим, и в холод стынем
по горам, по рекам, по пустыням,
горе пьем горстями допьяна!..

Пьем горе, как воду, как водку, горе пьем, потому и страшатся враги русской трезвости!..

1993